



Нет  
Лет





1981 г.



\* \* \*

Если снова в глазах так защиплет  
от безвременных стольких смертей,  
мне страшна не моя беззащитность,  
а любимой и наших детей.

И никак во мне страх не растает,  
если времени вопреки  
на их темечках не зарастают  
розоватые «роднички».

Я и сам лишь кажусь защищенным.  
Убежав от пинков даровых,  
я скулю беспородистым щёном  
среди стольких машин дорогих.

Не прочитан я, а зачитан.  
Замусолен, захватан я весь.  
Кто прославленной — тот беззащитней.  
Слава — самая хрупкая вещь.

Мир в осколках, как в битой посуде.  
Норовя похрустеть побольней,  
наступают стеклянные люди  
на таких же стеклянных людей.

Что в России, себя доконавшей,  
нас, быть может, сумеет спасти?  
Понимание хрупкости нашей  
и невечности вечности.

*28 марта 1997*





## ПОХОРОНЫ ОКУДЖАВЫ

Сколько б жизнь меня ни ухудшала,  
я из тех,

в ком вечен Окуджава.

Отвергая жирную державность,  
худенькая совесть удержалась  
акробаткой-девочкой в стране  
на гитарной тоненькой струне.

Прощаться шел с тобой,

Булат,

весь в шестидесятниках Арбат.

Мы пионерлагерники.

Мы

беглецы из крымской Колымы,  
той,

где красногалстучных калек  
у своих костров

ковал Артек.

Мы не стали копиями точенькими

Павлика,

не стали «бudyготовчиками»,

Не сгорели мы на тех кострах.  
Мы —  
        плеяда победивших страх,  
но у нас на лицах,  
                                как овраги,  
отпечатки танков наших в Праге.

Шли семидесятники вослед —  
в тюрьмах не пришлось им досидеться  
до надежд прекрасных диссидентства —  
ни надежд,  
                                ни диссидентов нет.  
Каждой новой власти не под стать  
те, кто помогли ей властью стать.

Шли семидесятницы-старушки,  
до сих пор легендами не став,  
а когда-то гордо шли в психушки  
девочками в беленьких носках.  
Но и в лагеря к ним прилетала,  
утешая все-таки во сне,  
та гитара  
        с лялочкой,  
                                с веревочкой,  
та гитара с песенкой-дюймовочкой  
на покрытой инеем струне.

Шли восьмидесятники.

Им всем  
выпала лишь вера в IBM,  
ибо верить больше было не во что,  
но все та же худенькая девочка  
их не оставляла насовсем,  
и, качаясь на струне Булата,  
верила во что-то виновато,  
чувствуя огромную страну,  
как свою огромную вину.

Шли они —

ни лирики,  
ни физики,  
первые идеалисты-бизники,  
прежде чем возникли бизнюки, —  
в блейзерах Версаче слизняки.

Девятидесятников почти  
не было.

Слиняли.

Не почли.

Им скушна тусовка при гробах.

Любящий стихи

в их поколеньи

редок,

вроде дикого оленя

в дискотеке

с васильком в зубах.

Появилась новая свобода  
неприхода  
молодых на похороны тех,  
кто свободу добывал для всех.  
Сладкая свобода нечитанья  
перешла в ленцу непочитанья,  
даже в похоронную ленцу.  
Неужели поколению наших  
отпрысков,  
очередей на знавших,  
очередь у гроба не к лицу?  
Ну а если вдруг умрет страна?  
А надежда-девочка?  
Струна?

Впрочем,  
при потере поколения  
в будущем верней возможность гения.  
И притихший кроха-девьяностик,  
розовый, как поросячий хвостик,  
на Арбат смотрел, как на Лицей,  
поднят над стотысячной толпою  
над усталым веком, над собою  
бабушкой-шестидесятницей.

Нет, не бессловесный гимн державы —  
она пела песни Окуджавы  
потихоньку внуку своему,  
и поверх попсовщины бездарной



по струне гитарной, легендарной  
девочка-надежда шла к нему.

Научили горькие уроки —  
есть в своем отечестве пророки.  
Смелость их берет все города, —  
правда, запоздало иногда.  
Как же я в России разуверюсь,  
если в ней поруганная ересь  
классикой становится всегда?

Поколенья целого потерю  
в поколениях возместит иных  
твой, Россия, вечный, млечный стих.  
В пятидесятников не верю.  
Верю в девяностиков твоих!

*Июнь — июль 1997*





## ЧУТЬ-ЧУТЬ

Чуть-чуть мой крест,  
                                чуть-чуть мой крестик,  
ты — не на шее,  
                                ты — внутри.  
Чуть-чуть умри,  
                                чуть-чуть воскресни,  
потом опять чуть-чуть умри.  
Чуть-чуть влюбись,  
                                чуть приласкайся,  
чуть-чуть побудь,  
                                чуть-чуть забудь,  
чуть-чуть обидь,  
                                чуть-чуть раскайся,  
чуть-чуть уйди,  
                                вернись чуть-чуть,  
Чуть-чуть поплачь —  
                                любви не дольше,  
как шелуха,  
                                слети с губы,  
но разлюби чуть-чуть —  
                                не больше!  
и хоть чуть-чуть не разлюби.

*Март 1997*



\* \* \*

Все монеты глядят выжидающе —  
на глаза мои прыгнут вот-вот,  
и хотелось бы выше,

дальше,

да могила ждет.

Как бы договориться с могилою,  
объяснить, что я занят,

пока

еще делаю глупости милые,  
еще пишет рука.

Развращает идея бессмертия.

Мы не ценим отпущенных крох,  
и, к несчастью, есть нечто последнее —  
взгляд,

вдох.

Не был я заодно со злодеями,  
ну а вдруг подкрадется смерть,  
и последнее,

мною содеянное, —

грязь,

мерзь?

Не был выродком я рядом с выродками.  
Неужели умру, как пошляк,  
А последнее слово выроненное —  
шлак?  
Проповедничал я лишь по слепости,  
Смерть,

ты за руку ввысь поведи  
до вершины прозревшей последности —  
до нагорней исповеди!

Я люблю все, что Господом дадено,  
даже каждый малюсенький грех,  
а бессмертия мне не надобно,  
потому что оно —

не для всех.

Из народа оно меня вытеснит.  
От бессмертия,

будьте добры,

упасите,

как от правительственной,  
слишком липкой икры.

*Март 1997*





## НА СМЕРТЬ ВЛАДИМИРА СОКОЛОВА

Когда я встретил Вл. Соколова,  
он шел порывисто, высоколобо,  
и шляпа, тронутая снежком,  
плыла над зимней улицей «Правды»,  
и выбивающиеся пряди  
метель сбивала в мятежный ком.

Он по характеру был не мятежник.  
Он выжил в заморозки, как подснежник.  
Владелец пушкинских глаз прилежных  
и пастернаковских ноздрей Фру-Фру,  
он был поэтом сырых полениц  
и нежных ботиков современниц,  
его поэзии счастливых пленниц,  
снежком похрапывающих поутру.

В метели, будто бы каравеллы,  
скользили снежные королевны  
и ускользали навек из рук,  
и оставался с ним только Додик —  
как рядом с парусником пароходик,  
дантист беззубый, последний друг.

Висели сталинские портреты,  
зато какие были поэты!  
О, как обчитывали мы все  
друг друга пенящимися стихами  
в Микишкин-холле, или в духане,  
в курилке, или в парилке в бане,  
в Тбилиси, Питере и Москве!

Рождались вместе все наши строчки,  
а вот уходим поодиночке  
в могилу с тайнами ремесла.  
Но нам не место в траурной раме.  
Непозволительно умирање,  
когда поэзия умерла.

На наши выстраданные роды  
ушло так много сил у природы,  
что обессилела потом она,  
мысль забеременеть поэтом бросив.  
Кто после нас был? Один Иосиф.  
А остальные? Бродскоголосье —  
милые люди или шпана.

Мы все — приемыши Смелякова —  
Жана Вальжана века такого,  
который сам себе гэбист и зек.  
Мы получили с лихвою славу,  
всю, недоставшуюся Ярославу,  
но с нами вместе и он по праву  
войдет в безлагерный новый век.

Еще воскреснет Россия, если  
ее поэзия в ней воскреснет.  
Прощай, товарищ! Прости за то,  
что тебя бросил среди разброда.  
Теперь — ты Родина, ты — природа.  
Тебя ждет вечность, а с ней свобода,  
и скажет Лермонтов тебе у входа:  
«Вы меня поняли, как никто...»

*25 января 1997*

